

М. Горький

Супруги Орловы

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г71

Г71 **Горький М.**
Супруги Орловы / М. Горький – М.: Книга по Требованию, 2021. – 42 с.

ISBN 978-5-4241-2720-5

Один из самых популярных авторов рубежа XIX и XX веков, прославившийся изображением романтизированного деклассированного персонажа («босняка»), автор произведений с революционной тенденцией, лично близкий социал-демократам, находившийся в оппозиции царскому режиму, Горький быстро получил мировую известность.

ISBN 978-5-4241-2720-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© М. Горький, 2021

Горький Максим
Супруги Орловы

А.М.Горький

Супруги Орловы

...Почти каждую субботу перед всеобщей из двух окон подвала старого и грязного дома купца Петунникова на тесный двор, заваленный разною рухлядью и застроенный деревянными, покосившимися от времени службами, рвались ожесточённые женские крики:

- Стой! Стой, пропойца, дьявол! - низким контральто кричала женщина.
- Пусти! - отвечал ей тенор мужчины.
- Не пущу я тебя, изверга!
- Вр-решь! пустишь!
- Убей, не пущу!
- Ты? Вр-решь, еретица!
- Батюшки! Убил, - ба-атюшки!
- Пу-устишь!

При первых же криках Сенька Чижик, ученик маляра Сучкова, целыми днями растиравший краски в одном из сарайчиков во дворе, стремглав вылетал оттуда и, сверкая глазёнками, чёрными, как у мыши, во всё горло орал:

- Сапожники Орловы стражаются! Ух ты!

Страстный любитель всевозможных происшествий, Чижик подбегал к окнам квартиры Орловых, ложился животом на землю и, свесив вниз свою лохматую, озорную голову с бойкой рожницей, выпачканной охрой и мумиёй, жадными глазами смотрел вниз, в тёмную и сырую дыру, из которой пахло плесенью, варом и прелой кожей. Там, на дне её, яростно возились две фигуры, хрипя и ругаясь.

- Убьёшь ведь, - задыхаясь, предупредила женщина.
- Н-ничего! -уверенно и с сосредоточенной злобой успокоивал её мужчина.

Раздавались тяжёлые, глухие удары по чему-то мягкому, вздохи, взвизгивания, напряжённое кряхтенье человека, ворочающего большую тяжесть.

- И-эх ты! Ка-ак он её колодкой-то саданул! - иллюстрировал Чижик ход событий в подвале, а собравшаяся вокруг него публика - портные, судебный рассыльный Левченко, гармонист Кисляков и другие любители бесплатных развлечений - то и дело спрашивали Сеньку, в нетерпении дёргая его за ноги и за штанишки, пропитанные красками:

- Ну?

- Сидит на ней верхом и мордой её в пол тычет, - докладывал Сенька, сладострастно поёживаясь от переживаемых им впечатлений...

Публика тоже наклонялась к окнам Орловых, охваченная горячим стремлением самой видеть все детали боя; и хотя она уже давно знала приёмы Гришки Орлова, употребляемые им в войне с женой, но всё-таки изумлялась:

- Ах, дьявол! Разбил?
- Весь нос в кровь - так и тикёт! - захлебываясь, сообщал Сенька.
- Ах ты, господи, боже мой! - восклицали женщины. - Ах, изверг-мучитель! Мужчины рассуждали более объективно.
- Беспременно он её должен до смерти забить, - говорили они.

А гармонист тоном провидца заявлял:

- Помяните моё слово - ножом распотрошит! Устанет возиться вот таким манером, да сразу и кончит всю музыку!

- Кончил! - всакивая с земли, вполголоса сообщал Сенька и мигом отлетал

от окон куда-нибудь в сторону, в уголок, где занимал новый наблюдательный пост, зная, что сейчас должен выйти на двор Орлов.

Публика быстро расходилась, не желая попадаться на глаза свирепого сапожника; теперь, по окончании сражения, он терял в её глазах всякий интерес и, вместе с этим, был не безопасен.

Обыкновенно на дворе не было уже ни одной живой души, кроме Сеньки, когда Орлов являлся из своего подвала. Тяжело дыша, в разорванной рубашке, с растрёпанными волосами на голове, с царапинами на потном и возбуждённом лице, он исподлобья оглядывал двор налитыми кровью глазами и, заложив руки за спину, медленно шёл к старым розвальням, лежавшим кверху полозьями у стены деревянного сарая. Иногда он при этом ухарски посвистывал и так смотрел по сторонам, точно имел намерение вызвать на бой всё население дома Петунникова. Затем он садился на полозья розвален, отирал рукавом рубахи пот и кровь с лица и замирал в усталой позе, тупо глядя на стену дома, грязную, с облезлою штукатуркой и с разноцветными полосами красок, - маляры Сучкова, возвращаясь с работы, имели обыкновение чистить кисти об эту часть стены.

Орлову было лет под тридцать. Нервное лицо с тонкими чертами украшали маленькие тёмные усы, резко оттеняя полные, красные губы. Над большим хрящеватым носом почти срастались густые брови; из-под них смотрели всегда беспокойно горевшие, чёрные глаза. Среднего роста, немного сутулый от своей работы, мускулистый и горячий, он, долго сидя на розвальнях в каком-то оцепенении, рассматривал раскрашенную стену, глубоко дыша здоровой, смуглой грудью.

Солнце уже село, но на дворе душно; пахнет масляной краской, дёгтем, кислой капустой и какой-то гнилью. Из всех окон обоих этажей дома на двор льются песни и брань, иногда чья-нибудь испитая физиономия с минуту рассматривает Орлова, высунувшись из-за косяка, и исчезает, усмехаясь.

Являются маляры с работы; проходя мимо Орлова, они искоса смотрят на него, перемигиваются между собой и, наполняя двор бойким костромским говором, собираются кто в баню, кто в кабак. Сверху из второго этажа сползают на двор портные - народ полуодетый, худосочный и кривоногий, начинают подтрунивать над костромичами-малярами за их горохом рассыпающуюся речь. Весь двор наполняется шумом, бойким и живым смехом, шутками. Орлов сидит в своём углу и молчит, ни на кого не глядя. Никто не подходит к нему и никто не решается пошутить над ним, ибо знают, что теперь он - зверь лютой.

Он сидит, охваченный глухой и тяжёлой злобой, которая давит ему грудь, затрудняя дыхание, ноздри его хищно вздрагивают, а губы искривляются, обнажая два ряда крепких и крупных жёлтых зубов. В нём растёт что-то бесформенное и тёмное, красные, мутные пятна плавают пред его глазами, тоска и жажда водки сосёт его внутренности. Он знает, что, когда он выпьет, ему будет легче, но пока ещё светло, и ему стыдно идти в кабак в таком оборванном и истерзанном виде по улице, где все знают его, Григория Орлова.

Он не хочет выходить на всеобщее посмешище, но и пойти домой, чтобы одеться и умыться, тоже не может. Там, на полу, лежит избитая жена, а она ему теперь всячески противна.

Она там стонет, чувствует, что она мученица и что она права пред ним, - он знает это. Он знает и то, что она действительно права, а он виноват, это ещё более

усиливает его ненависть к ней, потому что рядом с этим сознанием в душе его кипит злобное тёмное чувство и оно сильнее сознания. В нём всё смутно и тяжело, и он безвольно отдаётся тяжести своих внутренних ощущений, не умея разобратся в них и зная, что только полбутылка водки может облегчить его.

Вот идёт гармонист Кисляков. Он в плисовой безрукавке, в красной шёлковой рубашке, в шароварах, заправленных в щегольские сапоги. Подмышкой у него гармоника в зелёном мешке, чёрненькие усики закручены в стрелки, картуз ухарски надет набекрень, и всё лицо сияет удалью и весельем. Орлов любит его за удалство, за игру, за весёлый характер и завидует его лёгкой, беззаботной жизни.

С по-бед-дой, Гриша, поздравляю
И с расцар-рапанной щекой!

Орлов не сердится на него за эту шутку, хотя он уже слышал её раз пятьдесят, да гармонист и не со зла говорит это, а просто потому, что шутить любит.

- Что, брат! опять Плевна была? - спрашивает Кисляков, останавливаясь на минутку перед сапожником. - Эх ты, Гриня, спела дыня! Шёл бы ты туда, куда всем нам дорога... Ключули бы мы с тобой.

- Я скоро, - не поднимая головы, говорит Орлов.

- Жду и страдаю по тебе...

Вскоре уходит и Орлов.

Тогда из подвала, держась за стены, выходит маленькая, полная женщина. Голова у неё плотно закутана платком, из отверстия на лице смотрит только один глаз, кусок щеки и лба. Пошатываясь, она идёт через двор и садится на то место, где сидел её муж. Её появление никого не удивляет - к этому привыкли, и все знают, что она просидит тут до той поры, пока Гришка, пьяный и настроенный на покаянный лад, не появится из кабака. Она выходит на двор потому, что в подвале душно, и для того, чтобы свести с лестницы пьяного Гришку. Лестница - полусгнившая и крутая; однажды Гришка упал с неё и вывихнул себе руку, так что недели две не работал, и за это время, чтобы прокормиться, они заложили почти все пожитки.

С той поры Матрёна и караулила его.

Иногда кто-нибудь со двора подсаживается к ней, чаще всех Левченко усатый унтер-офицер, в отставке, рассудительный и степенный хохол с гладко остриженной головой и сизым носом. Он садится и, позёвывая, спрашивает:

- Снова подрались?

- А тебе что? - недружелюбно и задорно говорит Матрёна.

- А ничего! - объясняет хохол, и после этого оба они долго молчат.

Матрёна тяжело дышит, и в груди у неё что-то хрипит.

- И чего вы всё воюете? Чего б вам делить? - начинает рассуждать хохол.

- Наше дело... - кратко говорит Матрёна Орлова.

- Ваше, это так, - соглашается Левченко, кивая головой.

- Так чего же ты лезешь ко мне? - резонно заявляет Орлова.

- Фу ты, какая! Слова ей не скажи! Как посмотрю я на вас - пара вы с Гришкой! Батогами бы вас лупить надо каждый день - раз поутру и раз вечером - вот что! Были бы тогда оба не такие ежи...

И, рассерженный, он уходит прочь от неё, чем она очень довольна: по двору давно уже ходит говор, что хохол недаром к ней ластится, она зла на него, на него

и на всех людей, которые суются не в своё дело. А хохол идёт в угол двора прямой солдатской походкой, бодрый и сильный, несмотря на свои сорок лет.

Вот откуда-то к нему под ноги подвёртывается Чижик.

- Она тоже, дяденька, редька, Орлиха-то! - вполголоса сообщает он Левченку, подмигивая туда, где сидит Матрёна.

- Вот я тебе такую пропишу, где нужно, редьку! - усмехаясь в усы, грозит хохол. Он любит бойкого Чижика и внимательно слушает его, зная, что Чижиком известны все тайны двора.

- Около неё не обрыбишься, - не обращая внимания на угрозу, поясняет Чижик. - Максимка-маляр пробовал, дык она его так смазала! Я сам слышал здорово! Прямо по харе, как по барабану!

Полурёбёнок, полувзрослый, несмотря на свои двенадцать лет, живой и впечатлительный, он, как губка влагу, жадно впитывает в себя грязь окружающей его жизни, на лбу у него уже есть тонкая морщинка, признак, что Сенька Чижик думает.

...На дворе темно. Над ним сияет, весь в блеске звёзд, квадратный кусок синего неба, и, окружённый высокими стенами, двор кажется глубокой ямой, когда с него смотришь вверх. В одном углу этой ямы сидит маленькая женская фигурка, отдыхая от побоев, ожидая пьяного мужа...

Орловы были женаты четвёртый год. Был у них ребёнок, но, прожив около полутора года, умер; они оба недолго горевали о нём, успокоившись в надежде иметь другого.

Подвал, где они помещались, - большая, продолговатая, тёмная комната со сводчатым потолком. Прямо у двери - большая русская печь, челом к окнам; между нею и стеной - узенький проход в квадрат, освещённый двумя окнами, выходящими во двор. Свет падал из них в подвал косыми, мутными полосами, в комнате было сыро, глухо и мертво. Жизнь билась где-то там наверху, а сюда залетали от неё только глухие, неопределённые звуки, падавшие вместе с пылью в яму к Орловым бесцветными хлопьями. Против печи, по стене деревянная двухспальная кровать за ситцевым пологом, жёлтым, с розовыми цветами; у другой стены - стол, на нём пили чай и обедали, а между кроватью и стеной, в двух полосах света, супруги работали.

По стенам лениво путешествовали тараканы, обедая хлебный мякиш, которм были приклеены к штукатурке картинки из журналов; унылые мухи летали повсюду, скучно жужжа, и засиженные ими картинки смотрели тёмными пятнами с грязносерого фона стен.

День Орловых начинался так: часов в шесть утра Матрёна просыпалась, умывалась и ставила самовар, не раз искалеченный в пылу драк и весь покрытый заплатками из олова. Пока кипел самовар, она убирала комнату, ходила в лавочку, потом будила мужа; он вставал, умывался, а самовар уже стоял на столе, шипя и курлыкая. Садились пить чай с белым хлебом, которого съедали вдвоём фунт.

Григорий работал хорошо, и работа у него была всегда, за чаем он распределял её. Он делал чистую работу, требовавшую руки мастера, - жена сучила драгу, подклеивала поднаряд, делала набойки на стоптанные каблуки и тому подобные мелочи. За чаем обсуждался обед. Зимой, когда надо есть больше, это был довольно интересный вопрос; летом из экономии печь топили только по праздникам, и то не всегда, питались же преимущественно крошками из кваса,

с добавлением луку, солёной рыбы, иногда мяса, сваренного у кого-нибудь на дворе. Кончив чай, садились работать: Григорий на квашонку, обитую кожей и с трещиной на боку, жена рядом с ним - на низенькую скамейку.

Сначала работали молча - о чём им было говорить? Перекинутся парой слов, относящихся к работе, и молчат по полчаса и больше. Стучит молоток, шипит дратва, продёргиваемая сквозь кожу. Григорий иногда зевнёт и непременно заключит зевок протяжным рёвом или воем. Матрёна вздыхает. Иногда Орлов запевал песню. Голос у него резкий, с металлическим тембром, но петь он умеет. Слова песни то собирались в жалобный и быстрый речитатив и, как бы боясь не договорить того, что хотели сказать, стремительно рвались из Гришкиной груди, то, вдруг растягиваясь в грустные вздохи - с воплем "эх!", - тоскливые и громкие, летели из окна на двор. Матрёна подтягивала мужу мягким контральто. Лица у обоих становились задумчивы и печальны, тёмные глаза Гришки подёргивались влагой. Жена его, погружённая в звуки, как-то тупела, сидя точно в полусне и покачиваясь из стороны в сторону, а иногда она точно захлёбывалась песней, разрывая средину ноты паузой, и снова продолжала вести её в унисон голоса мужа. Оба они во время пения не чувствовали присутствия друг друга, стараясь излить в чужих словах пустоту и скуку своей тёмной жизни, хотели, быть может, оформить этими словами те полусознательные мысли и ощущения, которые зарождались в их душах.

Порой Гришка импровизировал:

Э-ох, ты, жи-изнь... эх, да уж ты, жизнь моя треклятая...

Да ты, тоска-а! Эх и ты, тоска моя проклятая,

Проклятущая тоска-а-а!..

Матрёне эти импровизации не нравились, и она обыкновенно в таких случаях спрашивала его:

- Чего ты завыл, как пёс перед покойником?

Он почему-то тотчас же сердился на неё:

- Тупорылая хавронья! Что ты можешь понимать? Кикимора болотная!

- Выл, выл, да залаял...

- Молчать твоё дело! Я кто - подмастерье, что ли, твой, что ты мне рацеи-то начитывать суёшься, а?..

Матрёна, видя, что у него напрягаются жилы на шее и глаза блещут гневом, - молчала, молчала долго, демонстративно не отвечая на вопросы мужа, гнев которого гас так же быстро, как и вспыхивал.

Она отвёртывалась от его взглядов, искавших примирения с ней, ожидавших её улыбки, и вся была полна трепетного чувства боязни, что он вновь рассердится на неё за эту игру с ним. Но в то же время сердиться на него и видеть его стремление к миру с ней для неё было приятно, - ведь это значило жить, думать, волноваться...

Оба они - молодые и здоровые люди - любили друг друга и гордились друг другом. Гришка был такой сильный, горячий, красивый, а Матрёна - белая, полная, с огоньком в серых глазах, - "ядрёная баба", - говорили о ней на дворе. Они любили друг друга, но им было скучно жить, у них не было впечатлений и интересов, которые могли бы дать им возможность отдохнуть друг от друга, удовлетворяли бы естественную потребность человека волноваться, думать, - вообще жить. Если б у Орловых была жизненная цель, хоть бы накопление денег

грош за грошом, - тогда, несомненно, им жилось бы легче.

Но у них не было и этого.

Постоянно один у другого на глазах, они привыкли друг к другу, знали все слова и жесты один другого. День шёл за днём и не вносил в их жизнь почти ничего, что развлекало бы их. Иногда, по праздникам, они ходили в гости к таким же нищим духом, как сами, иногда к ним приходили гости, пили, пели, нередко - дрались. А потом снова один за другим тянулись бесцветные дни, как звенья невидимой цепи, отягчавшей жизнь этих людей работой, скукой и бессмысленным раздражением друг против друга.

Иногда Гришка говорил:

- Вот так жизнь, ведьма её бабушка! И зачем только она мне далась? Работища да скучища, скучища да работища... - И, помолчав, с поднятыми к потолку глазами, с блуждающей улыбкой, он продолжал: - Родила меня мать по воле божией, - супротив этого ничего не скажешь! Научился я мастерству... это вот зачем? Али, кроме меня, мало сапожников? Ну, ладно, сапожник, а дальше что? Какое в этом для меня удовольствие?... Сижу в яме и шью... Потом помру. Вот, говорят, холера... Ну и что же? Жил Григорий Орлов, шил сапоги - и помер от холеры. В чём же тут сила? И зачем это нужно, чтоб я жил, шил и помер, а?

Матрёна молчала, чувствуя в словах мужа что-то страшное; иногда она просила его не говорить таких слов, потому что они против бога, который уж знает, как устроить человеку жизнь. А иногда, будучи не в духе, она скептически заявляла мужу:

- А ты бы вот не пил винища-то - и жилось бы тебе веселее, и не лезли бы в голову-то этикие мысли. Другие живут - не жалуются, а копят денежки да свои мастерские на них заводят и живут потом, как господа.

- И выходишь ты за такие деревянные твои слова - чортова кукла! Раскинь мозгами-то, разве я могу не пить, коли в этом моя радость? Другие! Много ты их, других-то, этаких удачливых знаешь? А я разве до женитьбы такой был? Это, ежели по совести говорить, так ты меня сосёшь и жизнь мне теснишь... У, жаба!

Матрёна обижалась, но чувствовала, что муж её прав. В пьяном виде он и весёлый и ласковый, - другие были плодом её фантазии, - и до женитьбы он был весельчак, занятный и добрый...

"Почему это? Неужто и впрямь я ему тяжела?" - думала она.

Сердце её сжималось от горькой думы, ей становилось жаль себя и его: она подходила к нему и, ласково, любовно заглядывая ему в глаза, плотно прижималась к его груди.

- Ну, теперь будет лизаться, корова... - угрюмо говорил Гришка и показывал вид, что хочет оттолкнуть её от себя; но она уже знала, что он этого не сделает, и ещё ближе, ещё крепче жалась к нему.

Тогда у него вспыхивали глаза, он бросал на пол работу и, посадив жену к себе на колени, целовал её много и долго, вздыхая во всю грудь и говоря вполголоса, точно боясь, что его подслушает кто-то:

- Э-эх, Мотря! Живём мы с тобой ай-ай как плохо! Как зверьё, грызёмся... А почему? Такая звезда моя, под звездой родится человек, и звезда - судьба его!

Но это объяснение не удовлетворяло его и, прижав жену к груди, он задумывался.

Они подолгу сидели так в мутном свете и спёртом воздухе своего подвала. Она молчала, вздыхая, но иногда в такие хорошие моменты ей вспоминались незаслуженные обиды и побои, понесённые от него, и она с тихими слезами жаловалась ему на него.

Тогда он, смущённый её ласковыми упрёками, ещё горячее ласкал её, а она всё более разливалась в жалобах. Это, наконец, снова раздражало его.

- Будет скулить! Мне, может быть, в тысячу раз больнее, когда я тебя бью. Понимаешь? Ну и помолчи. Вашей сестре дай волю, так вы и за горло. Брось разговоры. Что ты можешь сказать человеку, ежели ему жизнь осточертела?

В другое время он смягчался под потоком её тихих слёз и страстных жалоб и уныло, задумчиво объяснял:

- Что я с моим характером поделаю? Обижаю я тебя, - это верно. Знаю, что ты у меня одна душа... ну, не всегда я это помню. Понимаешь, Мотря, иной раз глаза бы мои на тебя не смотрели! Вроде как бы объелся я тобой. И подступит мне в ту пору под сердце этакое зло - разорвал бы я тебя, да и себя заодно. И чем ты предо мной правее, тем мне больше бить тебя хочется...

Она едва ли понимала его, но кающийся и ласковый тон успокаивал её.

- Бог даст, как-нибудь поправимся, привыкнем, - говорила она, не сознавая, что они уже давно привыкли и исчерпали друг друга.

- Вот ежели бы дитё у нас родилось - было бы лучше нам, - вздыхая, заявляла она. - Была бы у нас и забава и забота.

- Так чего же ты? Рожай...

- Да... ведь при таких твоих побоях - не могу я принести. Очень уж ты по животу и по бокам больно бьёшь... Хоть бы ногами-то не бил...

- Ну, - угрюмо и сконфуженно оправдывался Григорий, - разве можно в этом разе соображать, чем, по чему бить надо? Да и я не палач какой... не для удовольствия бью, а от тоски...

- И отчего она завелась в тебе, тоска эта? - грустно спрашивала Матрёна.

- Судьба такая, Мотря! - философствовал Гришка. - Судьба и характер души... Гляди, - хуже я других, хохла, к примеру? Однако хохол живёт и не тоскует. Один он, ни жены, никого... Я бы подох без тебя... А он ничего! Он курит трубку и улыбается, - доволен, дьявол, и тем, что трубку курит. А я так не могу... я родился с беспокойством в сердце. Характер у меня такой... как пружина: нажмёшь на него - дрожит... Выйду я, к примеру, на улицу, вижу то, другое, третье, а у меня ничего нет. Это мне обидно. Хохлу - тому ничего не надо, а мне и то обидно, что он, уса́тый чорт, ничего не хочет, а я... и не знаю даже, чего хочу... всего! Н-да... Я сижу вот в яме, работаю, а ничего нет у меня. Опять же и ты... Жена ты мне, а - что в тебе занятого? Баба, как баба, со всем бабьим набором... Знаю я всё в тебе; как ты чихнёшь завтра - и то знаю, потому ты уж тысячу раз, может, при мне чихала... Какая же поэтому у меня может быть жизнь и какой интерес? Нет интересу. Ну, я и иду в трактир, потому что там весело.

- А ты зачем женился? - спрашивала Матрёна.

- Зачем? - Гришка усмехался. - Чорт меня знает зачем... не надо бы, ежели по совести сказать... В босяки бы лучше уйти... Там хоть голодно, да свободно - иди куда хочешь! Шагай по всей земле!..

- Так иди, а меня отпусти на волю, - заявляла Матрёна, готовая разрешиться.

- Это куда? - внушительно спрашивал Гришка.

- А моё дело.
- Ку-уда? - И глаза у него зловеще разгорались.
- Не ори, - не боюсь...
- Али присмотрела себе кого? Говори!
- Пусти!
- Куда пустить? - ревел Гришка.

Он уже держал её за волосы, сбив платок с её головы. Побои озлобляли её, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю её душу, и она, вместо того, чтобы двумя словами угасить его ревность, ещё более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо многозначительными улыбками. Он бесился и бил её, беспощадно бил.

А ночью, когда она, вся изломанная и измятая, стоная, лежала на постели рядом с ним, он искоса смотрел на неё и тяжело вздыхал. Ему было скверно, совесть мучила его, он понимал, что его ревность не имеет оснований и что он напрасно избил её.

- Ну, будет уж, - сконфуженно говорил он. - Али я виноват? И ты тоже хороша.. Вместо того, чтоб меня уговорить, - подзадориваешь. Зачем это тебе надобно?

Она молчала, но - она знала зачем, знала, что теперь её, избитую и оскорблённую, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней.

- Ну, полно, Мотря! Ну, голубушка, а? Полно, прости уж! - Он гладил её волосы, целовал её и скрипел зубами от горечи, наполнявшей всё его существо.

Окна их были открыты, но небо закрывала капитальная стена соседнего дома, и в комнате их, как и всегда, было темно, душно и тесно.

- Эх, жизнь! Каторга ты великолепная! - шептал Гришка, не будучи в состоянии высказать того, что с болью чувствовал. - От ямы это, Мотря. Что мы? Вроде как бы прежде смерти в землю похоронены...

- Переедем на другую квартиру, - сквозь сладкие слёзы предлагала Матрёна, понимая его слова буквально.

- Э-эх! Не то, тётенька! Хоть на чердак заберись, всё в яме будешь... не квартира - яма... жизнь - яма!

Матрёна задумывалась и опять говорила:

- Бог даст, может, и поправимся...

- Да, поправимся... Часто ты это говоришь. А дело-то у нас, Мотря, не на поправку идёт... Скандалы-то всё чаще, - понимаешь?

Это было верно. Промежутки между их ссорами всё сокращались, и вот, наконец, каждую субботу ещё с утра Гришка уже настраивался враждебно к своей жене.

- Сегодня вечером пошабашу и в трактир к Лысому... Напьюсь... объявлял он.

Матрёна, странно щуря глаза, молчала.

- Молчишь? И ужо вот так же молчи, целее будешь, - предупреждал он.

В течение дня он с озлоблением, возраставшим по мере приближения вечера всё более, несколько раз напоминал ей о своём намерении напиться, чувствовал, что ей больно это слышать, и, видя, как она, сосредоточенно молчаливая, с твёрдым блеском в глазах, готовая бороться, ходит по комнате, ещё более свире-